

ЭССЕ "ЦИРКА" ОДИМУ

ВИКТОР КРИВУЛИН

СЛОВЕСНОСТЬ - РОДИНА И ВАША, И МОЯ

Передо мной фотография тридцатилетней давности: комаровское кладбище, пересохший хрупкий наст, четверо молодых людей, склоненных под тяжестью гроба с телом Ахматовой. Это Евгений Рейн, Анатолий Найман, Дмитрий Бобышев и Иосиф Бродский. Я перечисляю их имена в том порядке, в каком они приходили в дом Анны Андреевны. Как бы ни складывались их отношения впоследствии, как бы ни расходились жизненные пути, сколь бы ни различался душевный и духовный опыт - эта четверка ленинградских стихотворцев навсегда отпечатается в истории русской поэзии неким единым духовно-стилистическим густоком, легендарной квадригой, впряженной в похоронную колесницу Анны Ахматовой в мартовские дни 1966 года. Спустя девять лет в парижском сборнике "Памяти Анны Ахматовой" появятся "Траурные октавы" Дмитрия Бобышева, угрюмо-торжественные строфы с неутешающей болью утраты, принадлежащие перу одного из самых ярких русских поэтов послевоенного поколения.

Похороны "Дидонов серебряного века" стали и последней точкой того творческого и человеческого единения, которое удивительным образом напоминало мистические дружбы молодых символистов и словно бы озарено было отсветами уходящего небытия предреволюционного цветения русской поэзии. Дружбы кончаются разрывами, общность вкусов, предметов любви и пристрастий разрешается разбеганием поэтических вселенных, раздроблением интересов, самоопределением бывших единочувственников. Тогда, ранней весной 1966 года, четверка "ахматовских сирот" навсегда распалась.

Они были ровесниками другой прославленной четверки - "Битлз", и теперь, после смерти Иосифа Бродского, их тоже осталось трое, а среди оставшихся Дмитрию Бобышеву бесспорно принадлежит пальма первенства. В этом году ему исполняется 60 лет, но он по-прежнему пишет свежо и ярко, и также, как и в юности, пишет преимущественно стихи, мощно звучащие в широком эмоциональном диапазоне - от высокой романтической патетики до черной иронии.

Впервые стихи Бобышева были опубликованы в самиздатском гинзбурговском "Синтаксисе" в 1959 году (перепечатано в журнале "Грань" №58, 1965 г.). Потом было знакомство с Анной Ахматовой в 1960 году - встреча, определившая дальнейшую судьбу молодого поэта.

Ахматова посвятила Бобышеву едва ли не лучшее из поздних своих стихотворений. Начало шестидесятых для него - это ореол известности среди многочисленных тогда любителей поэзии в Москве и Ленинграде, прелюдия шумной литературной славы, которой, впрочем, так и не воспоследовало. До 1964 года Бобышев появляется на литературных вечерах бок о бок с Бродским, Найманом и Рейном. Останется лишь достоянием мемуаров (как правило недостоверных и поверхностных) литературная эйфория того времени, турниры поэтов в ДК имени Горького, скандальные поэтические вечера в университете, столпотворения в "Кафе поэтов" на Полтавской, где я впервые увидел всю легендарную уже к тому времени четверку вместе. Они возникли как-то одновременно и одним своим появлением привнесли в накуренное переполненное помещение какой-то совершенно особый дух - надстоящий над тогдашними нашими заботами и проблемами. Они держались плотной группкой, "коробочкой", вели себя высокомерно и даже высокомерно, словно оберегая от грубых внешних приносов и то, что, при всей розности и несхожести, объединяло их. С Бродским я был знаком раньше. Он представил меня Бобышеву как студента филфака. "Что? Универсант?" - с некоторой брезгливой отяжкой протянул Бобышев. Сам он кончал Технологку (кажется в 1959), и как я теперь понимаю, вовсе не снобизмом была вызвана его полупрезрительная гримаса. Советская кафедра филфака и в шестидесятые продолжала быть гнездом гонителей Ахматовой, там готовились тексты убойных партийных постановлений по литературе и искусству, там царили их литературные враги. Впрочем, и мои тоже.

Технологический же институт в те годы оказался едва ли не самым либеральным ВУЗом Ленинграда. В его стенах постоянно возникали какие-то подпольные студенческие кружки, антисоветские организации, оттуда выходили не одни только инженеры-химики, но будущие известные диссиденты, и сама атмосфера общения "техножителей" провоцировала странноватый дуплет интересов - политика и поэзия. Не здесь ли источник гневных социально-философских филиппик Бобышева в его поздних (1982) "Русских терцинах"?

Впрочем, думаю, что в 60-е годы Бобышев был равно далек и от либеральной ревизии марксизма, процветавшей среди студентов Технологического института, и от религиозно-почвеннических идей, питавших гуманистов из Университета. Два политических процесса 1966 года - дело Ронкина и процесс над группой демохристиан во главе с Огурцовым как бы обозначили полюса в духовном состоянии общества, предугадали будущий раскол среди противников и критиков режима - то были новые "западники" и новые "славянофилы", поэзия же обреталась где-то в ином измерении, подвергаясь, впрочем, опущенному давлению и со стороны либералов и со стороны "почвенников". Двойное это давление испытал на себе и Дмитрий Бобышев.

Если же говорить собственно о литературе, то 1966 год в Ленинграде прошел для меня и для поэтов моего поколения под знаком первой официальной публикации стихов Бобышева. В альманахе "Молодой Ленинград" было впервые за полвека напечатано по-настоящему петербургское стихотворение - "Львиный мост". Его появление означало для нас надежду на конец позорного ленинградского периода литературы. Начиналась новая эпоха - эпоха уже не советской, а новой русской поэзии, это стало очевидно именно благодаря стихам Бобышева.

В "Энциклопедическом словаре русской литературы с 1917 года" под редакцией Вольфганга Казака (Лондон, 1988 г., стр. 109) дана довольно-таки расплывчатая и обобщенная характеристика творческого метода Дм. Бобышева - в том смысле, что "...это поэзия философского поиска, поиска смысла и красоты, поиска Божественного в земном, поэзия, которая для постижения материального всегда привлекает черты иного мира...". Чтобы почувствовать, насколько важна была для целого поколения поэтов и читателей спиритуально-визионерская позиция и медитативная поэтическая практика Бобышева, следует иметь в виду, что на рубеже 60-70-х годов главной, пожалуй, духовной потребностью русской интеллигенции стало стремление "стереть случайные черты" и разглядеть "изнанку вещей", скрытую за пеленой повседневности, за уловками и обманками языка, за случайными ужимками истории.

Недоверие к жизни, крах демократических иллюзий "оттепели", радикальная нравственная переоценка прошлого и стойкое эстетическое отвращение к настоящему - все это последовательно воплощалось в стихах Бобышева, приобретавших со временем все более надмирный, спиритуальный характер. В то время, как Бродский все более вовлекается

в процесс самоопределения, обозначения границ собственной личности и все большее значение приобретает для него проблема самоидентификации - Бобышев как бы сознательно растворяется, "теряет себя" в эзотерических глубинах языка, обретая мучительное родство с коллективным бессознательным, пытаясь прорваться в пространство нового религиозного эпоса, для которого центральным сюжетом становится надличностный процесс рождения, преображения и одухотворения косной материи.

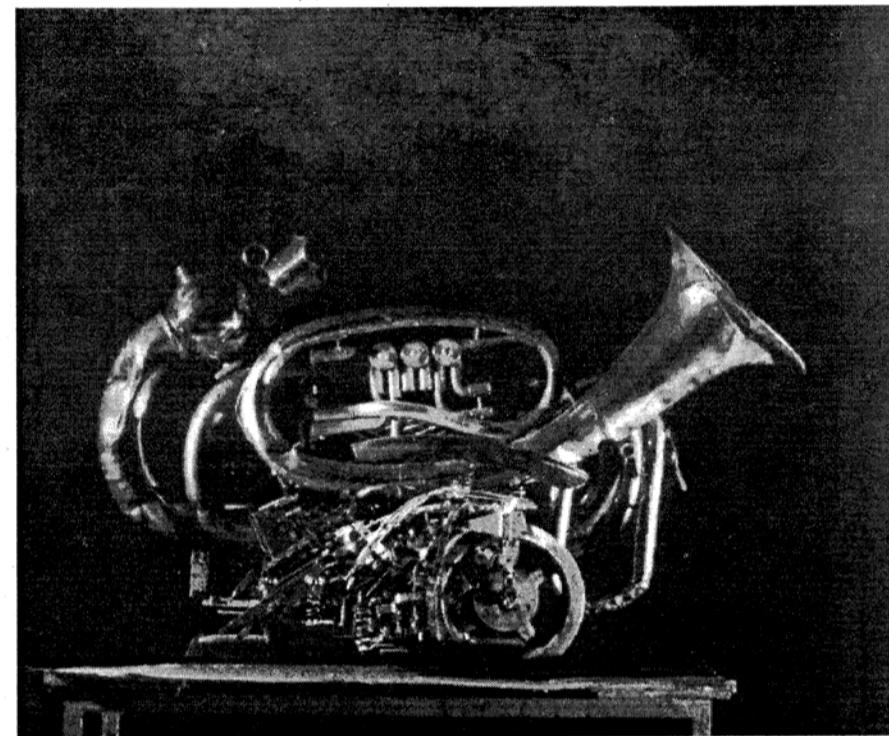
Здесь сыграл свою роль естественно-научный характер образования, полученного Бобышевым - "любовь к (ал)химии" сказалась на его стилистике и поэтике гораздо сильнее, чем это принято думать. Восторженная завороженность "химизмом" глубинных словесных реакций, тенденция к "вытягиванию" из-под историко-этимологического спуда первоначальных значений и звучаний каждого включаемого в текст слова, сплавливание в тигле единого смысла разнородных и разномастных лексических единиц и, наконец, прямо восходящий к алхимическим священнодействиям метод оперирования средневековыми символами, пронизывающими толщу подлежащего творческой переработке "сырого" вещества - все это присуще поэзии Бобышева не в меньшей степени чем, скажем, методике физических опытов конца прошлого века - ритмологическим экспериментам Андрея Белого, чьи занятия экспериментальной физикой дали неожиданный результат в поэзии.

История русской литературы оперирует удивительными смысловыми рифмами, что позволяет ставить в один ряд или по крайней мере соотносить человеческие судьбы, отстоящие на десятилетия. Динамика взаимоотношений Александра Блока и Андрея Белого как бы повторилась спустя 60 лет, когда мистическая дружба двух, может быть, наиболее одаренных поэтов новой волны завершилась разрывом, мучительным для обоих, дав толчок для мощного разнонаправленного развития.

Перелом в личной судьбе Бродского - эмиграция весной 1972 года - имеет свою параллель и в судьбе Дмитрия Бобышева. В том же 1972 году он принимает православие, усиливается мистическое звучание его поэзии, начинается интенсивная, вдохновенная работа над



1996 N11



Василий Богачев. Любитель отражений.

монументальным минералогическим эпосом. В это время у Бобышева появляются новые друзья и единомышленники - поэты более молодого поколения (Сергей Стратановский, Борис Куприянов, Елена Пудовкина и др.), для которых его опыт религиозно-мистического отношения к слову стал чрезвычайно важен и близок, ибо приобрел особое звучание в контексте ленинградского религиозно-культурного движения 70-х годов. Лучшие стихи этого периода вошли в сборник "Зияния" (1979 г., Париж), но мы их любили с голоса, читали их в машинописных копиях, переписывали и перепечатывали их. Тогда казалось, что из всех "шестидесятников" по-настоящему "уцелел" только Бобышев, и его литературная репутация не имела равных в неофициальных литературных кругах.

Что-то изменилось после его отъезда в Америку в 1979 году. Стихи, написанные в Штатах, становились все утонченнее, формально-изощренней, глубже (пример тому - книга "Бестиарий", иллюстрированная М. Шемякиным). Мне понятно восторженное отношение крупнейшего поэта "второй волны" русской эмиграции Юрия Иваска к поздним стихам Бобышева, но все-таки самые сильные мои впечатления связаны с "квартирными" чтениями 70-х, когда голос поэта звучал с провиденциальной мощью, как бы раздвигая стены убогих коммуналок, где мы собирались тогда. Я никогда не забуду ощущаемого всей кожей наката звуковой волны, сладостного замирания от басовых обертонов и воспаряющих ввысь каденций - этот неземной красоты голос воскресает для меня, когда я перечитываю, как музыкант читает партитуру, октавы и сонеты Дмитрия Бобышева. В самых неожиданных местах, при самых невероятных перипетиях своей жизни я вспоминал, вспоминаю и убежден, что буду вспоминать эти строки:

Словесность - родина и ваша, и моя.
Но в ней заключено достаточно простора,
Чтобы вместить в себя все (?) бытия,
Все вывихи в судьбе народа-Христофора.

Поток меж ног бренчал заливисто и споро,
И приняла в себя днепровская струя
Перуна хищный всплеск с плеч богобора,
И плач младенчика, и посвист соловья...

Народу моему какой я судия?
Но и народ пускай туда не кажет взора,
Где радужный журавль, где райские края,
Где мысль моя летит, не ведая жилья...

А впрочем мало ли какого вздора
Понапрочила нам речь-ворожея.